

<ОДНА ИЗ ПОСЛЕДНИХ ГЛАВ> ¹

В то самое время, когда Чичиков в персидском новом халате из золотистой [термаламы](#), развальясь на диване, торговался с заезжим контрабандистом-купцом жидовского происхождения и немецкого выговора, и перед ними уже лежали купленная штука первейшего голландского полотна на рубашки и две бумажные коробки с отличнейшим мылом первостатейнейшего свойства (это было мыло то именно, которое он некогда приобретал на радзивилловской таможне; оно имело действительно свойство сообщать нежность и белизну щекам изумительную), — в то время, когда он, как знаток, покупал эти необходимые для воспитанного человека продукты, раздался гром подъехавшей кареты, отозвавшийся легким дрожаньем комнатных окон и стен, и вошел его превосходительство Алексей Иванович Леницын.

— На суд вашего превосходительства представляю: каково полотно, и каково мыло, и какова эта вчерашнего дни купленная вещь! — При этом Чичиков надел на голову [ермолку](#), вышитую золотом и бусами, и очутился, как персидский шах, исполненный достоинства и величия.

Но его превосходительство, не отвечая на вопрос, сказал с озабоченным видом:

— Мне нужно с вами поговорить об деле.

В лице его заметно было расстройство. Почтенный купец немецкого выговора был тот же час выслан, и они остались <одни>.

— Знаете ли вы, какая неприятность? Отыскалось другое завещание старухи, сделанное назад тому пять <лет>. Половина имения отдается на монастырь, а другая — обеим воспитанницам пополам и ничего больше никому.

Чичиков оторопел.

— Ну это завещанье — вздор. Оно ничего не значит, оно уничтожено вторым.

— Но ведь это не сказано в последнем завещании, что им уничтожается первое.

— Это само собою разумеется: последнее уничтожает первое. Первое завещанье никуда не годится. Я знаю хорошо волю покойницы. Я был при ней. Кто его подписал? кто были свидетели?

— Засвидетельствовано оно, как следует, в суде. Свидетелем был бывший совестный судья Бурмилов и Хаванов.

«Худо, — подумал Чичиков, — Хаванов, говорят, честен, Бурмилов — старый ханжа, [читает по праздникам Апостола в церквах](#)».

— Но вздор, вздор, — сказал он вслух и тут же почувствовал решимость на все штуки. — Я знаю это лучше: я участвовал при последних минутах покойницы. Мне это лучше всех известно. Я готов присягнуть самолично.

Слова эти и решимость на минуту успокоили Леницына. Он был очень взволнован и уже начинал было подозревать, не было ли со стороны Чичикова какой-нибудь фабрикации относительно завещания. Теперь укорил себя в подозрении. Готовность присягнуть была явным доказательством, что Чичиков <невинен>. Не знаем мы, точно ли достало бы духу у Павла Ивановича присягнуть на святом, но сказать это достало духа.

— Будьте покойны, я переговорю об этом деле с некоторыми юрисконсультами. С вашей стороны тут ничего не должно прилагать; вы должны быть совершенно в стороне. Я же теперь могу жить в городе, сколько мне угодно.

Чичиков тот же час приказал подать экипаж и отправился к юрисконсульту. Этот юрисконсульт был опытности необыкновенной. Уже пятнадцать лет как он находился под судом, и так умел распорядиться, что никак нельзя было отрешить от должности. Все знали его, за подвиги его следовало бы шесть раз уже послать на поселенье. Кругом и со всех сторон был он в подозрениях, но никаких нельзя было возвести явных и доказанных улик. Тут было действительно что-то таинственное, и его бы можно было смело признать колдуном, если бы история, нами описанная, принадлежала временам невежества.

Юрисконсульт поразил холодностью своего вида, замасленностью своего халата,

представлявшего совершенную противоположность хорошим мебелим красного дерева, золотым часам под стеклянным колпаком, люстре, сквозившей сквозь кисейный чехол, ее сохранявший, и вообще всему, что было вокруг и носило на себе яркую печать блистательного европейского просвещения.

Не останавливаясь, однако ж, скептической наружностью юрисконсульта, Чичиков объяснил затруднительные пункты дела и в заманчивой перспективе изобразил необходимо последующую благодарность за добрый совет и участие.

Юрисконсульт отвечал на это изображением неверности всего земного и дал тоже искусно заметить, что журавль в небе ничего не значит, а нужно синицу в руку.

Нечего делать: нужно было [дать синицу в руки](#). Скептическая холодность философа вдруг исчезла. Оказалось, что это был наидобродушнейший человек, наиразговорчивый и наиприятнейший в разговорах, не уступавший ловкостью оборотов самому Чичикову.

— Позвольте вам вместо того, чтобы заводить длинное дело, вы, верно, не хорошо рассмотрели самое завещание: там, верно, есть какая-нибудь приписочка. Вы возьмите его на время к себе. Хотя, конечно, подобных вещей на дом брать запрещено, но если хорошенько попросить некоторых чиновников... Я с своей стороны употреблю мое участие.

«Понимаю», — подумал Чичиков и сказал:

— В самом деле, я, точно, хорошо не помню, есть ли там приписочка, или нет, — точно как будто и не сам писал это завещание.

— Лучше всего вы это посмотрите. Впрочем, во всяком случае, — продолжал он весьма добродушно, — будьте всегда покойны и не смущайтесь ничем, даже если бы и хуже что произошло. Никогда и ни в чем не отчаивайтесь: нет дела неисправимого. Смотрите на меня: я всегда покоен. Какие бы ни были возводимы на меня казусы, спокойствие мое непоколебимо.

Лицо юрисконсульта-философа пребывало действительно в необыкновенном спокойствии, так что Чичиков много... ²

— Конечно, это первая вещь, — сказал <он>. — Но согласитесь, однако ж, что могут быть такие случаи и дела, такие дела и такие поклепы со стороны врагов, и такие затруднительные положения, что отлетит всякое спокойствие.

— Поверьте мне, это малодушие, — отвечал очень покойно и добродушно философ-юрист. — Старайтесь только, чтобы производство дела было все основано на бумагах, чтобы на словах ничего не было. И как только увидите, что дело идет к развязке и удобно к решению, старайтесь — не то чтобы оправдывать и защищать себя, — нет, просто спутать новыми вводными и так посторонними статьями.

— То есть, чтобы...

— Спутать, спутать, — и ничего больше, — отвечал философ, — ввести в это дело посторонние, другие обстоятельства, которые запутали <бы> сюда и других, сделать сложным — и ничего больше. И там пусть приезжий петербургский чиновник разбирает. Пусть разбирает, пусть его разбирает! — повторил он, смотря с необыкновенным удовольствием в глаза Чичикову, как смотрит учитель ученику, когда объясняет ему заманчивое место из русской грамматики.

— Да, хорошо, если подберешь такие обстоятельства, которые способны пустить в глаза мглу, — сказал Чичиков, смотря тоже с удовольствием в глаза философа, как ученик, который понял заманчивое место, объясняемое учителем.

— Подберутся обстоятельства, подберутся! Поверьте: от частого упражнения и голова сделается находчивою. Прежде всего помните, что вам будут помогать. В сложности дела выигрыш многим: и чиновников нужно больше, и жалованья им больше... Словом, втянуть в дело побольше лиц. Нет нужды, что иные напрасно попадут: да ведь им же оправдаться легко, им нужно отвечать на бумаги, им нужно окупиться... Вот уж и хлеб... Поверьте мне, что, как только обстоятельства становятся критические, первое дело спутать. Так можно спутать, так все перепутать, что никто ничего не поймет. Я почему

спокоен? Потому что знаю: пусть только дела мои пойдут похуже, да я всех впутаю в свое — и губернатора, и вице-губернатора, и полицеймейстера, и казначея, — всех запутаю. Я знаю все их обстоятельства: и кто на кого сердится, и кто на кого дует, и кто кого хочет упечь. Там, пожалуй, пусть их выпутываются, да покуда они выпутаются, другие успеют нажиться. Ведь только в мутной воде и ловятся раки. Все только ждут, чтобы запутать. — Здесь юрист-философ посмотрел Чичикову в глаза опять с тем наслаждением, с каким учитель объясняет ученику еще заманчивейшее место из русской грамматики.

«Нет, этот человек, точно, мудрец», — подумал про себя Чичиков и расстался с юрисконсультom в наиприятнейшем и в наилучшем расположении духа.

Совершенно успокоившись и укрепившись, он с небрежною ловкостью бросился на эластические подушки коляски, приказал Селифану откинуть кузов назад (к юрисконсульту он ехал с поднятым кузовом и даже застегнутой кожей) и расположился, точь-в-точь как отставной гусарский полковник или сам Вишнепокромов — ловко подвернувши одну ножку под другую, обратя с приятностью ко встречным лицом, сиявшее из-под шелковой новой шляпы, надвинутой несколько на ухо. Селифану было приказано держать направление к гостиному двору. Купцы, и приезжие и туземные, стоя у дверей лавок, почтительно снимали шляпы, и Чичиков, не без достоинства, приподнимал им в ответ свою. Многие из них уже были ему знакомы; другие были хоть приезжие, но, очарованные ловким видом умеющего держать себя господина, приветствовали его, как знакомые. Ярмарка в городе Тыфуславле не прекращалась. Отошла конная и земледельческая, началась — с [красными товарами](#) для господ просвещения высшего. Купцы, приехавшие на колесах, располагали назад не иначе возвращаться, как на санях.

— Пожалуйте-с, пожалуйте-с! — говорил у суконной лавки, учтиво рисуясь, с открытою головою, немецкий сертук московского шитья, с шляпой в руке на отлете, только чуть державший двумя пальцами бритый круглый подбородок и выражение тонкости просвещения в лице.

Чичиков вошел в лавку.

— Покажите-ка мне, любезнейший, суконца.

Благоприятный купец тотчас приподнял вверх открывавшуюся доску с стола и, сделавши таким образом себе проход, очутился в лавке, спиною к товару и лицом к покупателю.

Ставши спиной к товарам и лицом к покупателю, купец, с обнаженной головою и шляпой на отлете, еще раз приветствовал Чичикова. Потом надел шляпу и, приятно нагнувшись, обеими же руками упершись в стол, сказал так:

— Какого рода сукон-с? английских мануфактур или отечественной фабрики предпочитаете?

— Отечественной фабрики, — сказал Чичиков, — но только именно лучшего сорта, который называется аглицким.

— Каких цветов пожелаете иметь? — спросил купец, все так <же> приятно колеблясь на двух упершихся в стол руках.

— Цветов темных, оливковых или бутылочных с искрою, приближающихся, так сказать, к бруснике, — сказал Чичиков.

— Могу сказать, что получите первейшего сорта, лучше которого <нет> в обеих столицах, — говорил купец, потащившись доставать сверху штуку; бросил ее ловко на стол, разворотил с другого конца и поднес к свету. — Каков отлив-с! Самого модного, последнего вкуса!

Сукно блистало, как шелковое. Купец чутьем пронюхал, что пред ним стоит знаток сукон, и не захотел начинать с десятирублевого.

— Порядочное, — сказал Чичиков, слегка погладивши. — Но знаете ли, почтеннейший? покажите мне сразу то, что вы напоследок показываете, да и цвету больше того... больше искрасна, чтобы искры были.

— Понимаю-с: вы истинно желаете такого цвета, какой нонче в Пе<тербурге в моду> входит. Есть у меня сукно отличнейшего свойства. Предупеждаю, что высокой цены, но и высокого достоинства.

— Давайте.

О цене ни слова.

Штука упала сверху. Купец ее развернул еще с большим искусством, поймал другой конец и развернул точно шелковую материю, поднес ее Чичикову так, что <тот> имел возможность не только рассмотреть его, но даже понюхать, сказавши только:

— Вот-с сукно-с! [цвету наваринского дыму с пламенем](#).

О цене условились. Железный аршин, подобный жезлу чародея, отхватал тут же Чичикову на фрак <и> на панталоны. Сделавши ножницами нарезку, купец произвел обеими руками ловкое дранье сукна во всю его ширину, при окончании которого поклонился Чичикову с наиболеетительнейшею приятностью. Сукно тут же было свернуто и ловко заворочено в бумагу; сверток завертелся под легкой бечевкой. Чичиков хотел было лезть в карман, но почувствовал, <что> поясницу его приятно окружает чья-то весьма деликатная рука, и уши его услышали:

— Что вы здесь покупаете, почтеннейший?

— А, приятнейше неожиданная встреча! — сказал Чичиков.

— Приятное столкновение, — сказал голос того же самого, который окружил его поясницу. Это был Вишнепокрмов. — Готовился было пройти лавку без вниманья, вдруг вижу знакомое лицо — как отказаться от приятного удовольствия! Нечего сказать, сукна в этом году несравненно лучше. Ведь это стыд, срам! Я никак не мог бы отыскать... Я готов тридцать рублей, сорок рублей... возьми пятьдесят даже, но дай хорошего. По мне, или иметь вещь, которая бы, точно, была уже отличнейшая, или уж лучше вовсе не иметь. Не так ли?

— Совершенно так! — сказал Чичиков. — Зачем же трудиться, как не затем, чтобы, точно, иметь хорошую вещь?

— Покажите мне сукна средних цен, — раздался позади голос, показавшийся Чичикову знакомым. Он оборотился: это был Хлобугев. По всему видно было, что он покупал сукно не для прихоти, потому что сертучок был больно протерт.

— Ах, Павел Иванович! позвольте мне с вами наконец поговорить. Вас нигде не встретишь. Я был несколько раз — все вас нет и нет.

— Почтеннейший, я так был занят, что, ей-ей, нет времени. — Он поглядел по сторонам, как бы от объяснения улизнуть, и увидел входящего в лавку Муразова. — Афанасий Васильевич! Ах, боже мой! — сказал Чичиков. — Вот приятное столкновение!

И вслед за ним повторил Вишнепокрмов:

— Афанасий Васильевич!

<Хлобугев> повторил:

— Афанасий Васильевич!

И, наконец, благовоспитанный купец, отнеся шляпу от головы настолько, сколько могла рука, и, весь подавшись вперед, произнес:

— Афанасию Васильевичу наше нижайшее почтение!

На лицах напечатлелась та собачья услужливость, какую оказывает миллионщикам собачье отродье людей. Старик раскланялся со всеми и обратился прямо к Хлобугеву:

— Извините меня: я, увидевши издали, как вы вошли в лавку, решил вас побеспокоить. Если вам будет после свободно и по дороге мимо моего дома, так сделайте милость, зайдите на малость времени. Мне с вами нужно будет переговорить.

Хлобугев сказал:

— Очень хорошо, Афанасий Васильевич.

— Какая прекрасная погода у нас, Афанасий Васильевич, — сказал Чичиков.

— Не правда ли, Афанасий Васильевич, — подхватил Вишнепокрмов, — ведь это необыкновенно.

— Да-с, благодаря Бога недурно. Но нужно бы дождичка для посева.

— Очень, очень бы нужно, — сказал Вишнепокромов, — даже и для охоты хорошо.

— Да, дождичка бы очень не мешало, — сказал Чичиков, которому не нужно было дождика, но как уже приятно согласиться с тем, у кого миллион.

И старик, раскланявшись снова со всеми, вышел.

— У меня просто голова кружится, — сказал Чичиков, — как подумаешь, что у этого человека десять миллионов. Это просто даже невероятно.

— Противузаконная, однако ж, вещь, — сказал Вишнепокромов, — капиталы не должны быть в одних <руках>. Это теперь предмет трактатов во всей Европе. Имеешь деньги — ну, сообщай другим: угощай, давай балы, производи благотворительную роскошь, которая дает хлеб мастерам, ремесленникам.

— Это я не могу понять, — сказал Чичиков. — Десять миллионов — и живет как простой мужик! Ведь это с десятками миллионов черт знает что можно сделать. Ведь это можно так завести, что и общества другого у тебя не будет, как генералы да князья.

— Да-с, — прибавил купец, — у Афанасия Васильевича при всех почтенных качествах непросветительности много. Если купец почтенный, так уж он не купец, он некоторым образом есть уже негодичант. Я уж тогда должен себе взять и ложу в театре, и дочь уж я за простого полковника — нет-с, не выдам: я за генерала, иначе я ее не выдам. Что мне полковник? Обед мне уж должен кондитер поставлять, а не то что кухарка...

— Да что говорить! помилуйте, — сказал Вишнепокромов, — с десятками миллионами чего не сделать? Дайте мне десять миллионов — вы посмотрите, что я сделаю!

«Нет, — подумал Чичиков, — ты-то не много сделаешь толку с десятками миллионами. А вот если б мне десять миллионов, я бы, точно, кое-что сделал».

«Нет, если бы мне теперь, после этих страшных опытов, десять миллионов! — подумал Хлобуев. — Э, теперь бы я не так: опытом узнаешь цену всякой копейки». И потом, минуту подумавши, спросил себя внутренне: «Точно ли бы теперь умней распорядился?» И, махнув рукой, прибавил: «Кой черт! я думаю, так же бы растратил, как и прежде», — и вышел из лавки, сгорая желанием знать, что объявит ему Муразов.

— Вас жду, Петр Петрович! — сказал Муразов, увидевши входящего Хлобуева. — Пожалуста ко мне в комнатку.

И он повел Хлобуева в комнатку, уже знакомую читателю, неприхотливее которой нельзя было найти и у чиновника, получающего семьсот рублей в год жалованья.

— Скажите, ведь теперь, я полагаю, обстоятельства ваши получше? После тетушки все-таки вам досталось кое-что?

— Да как вам сказать, Афанасий Васильевич? Я не знаю, лучше ли мои обстоятельства. Мне досталось всего пятьдесят душ крестьян и тридцать тысяч денег, которыми я должен был расплатиться с частью моих долгов, — и у меня вновь ровно ничего. А главное дело, что дело по этому завещанию самое нечистое. Тут, Афанасий Васильевич, завелись такие мошенничества! Я вам сейчас расскажу, и вы подивитесь, что такое делается. Этот Чичиков...

— Позвольте, Петр Петрович: прежде чем говорить об этом Чичикове, позвольте поговорить собственно о вас. Скажите мне: сколько, по вашему заключению, было бы для вас удовлетворительно и достаточно затем, чтобы совершенно выпутаться из обстоятельств?

— Мои обстоятельства трудные, — сказал Хлобуев. — Да чтобы выпутаться из обстоятельств, расплатиться совсем и быть в возможности жить самым умеренным образом, мне нужно по крайней мере сто тысяч, если не больше. Словом, мне это невозможно.

— Ну, если бы это у вас было, как бы вы тогда повели жизнь свою?

— Ну, я бы тогда нанял себе квартиру, занялся бы воспитанием детей, потому что мне самому не служить; я уж никуда не годюсь.

— А почему ж вы никуда не годитесь?

— Да куды ж мне, сами посудите! Мне нельзя начинать с канцелярского писца. Вы позабыли, что у меня семейство. Мне сорок, у меня уж и поясница болит, я обленился; а должности мне поважнее не дадут; я ведь не на хорошем счету. Я признаюсь вам: я бы и сам не взял наживной должности. Я человек хоть и дрянной, и картежник, и все что хотите, но взятков брать я не стану. Мне не ужиться с Красноносковым да Самосвистовым.

— Но все, извините-с, я не могу понять, как же быть без дороги; как идти не по дороге; как ехать, когда нет земли под ногами; как плыть, когда челн не на воде? А ведь жизнь — путешествие. Извините, Петр Петрович, те господа ведь, про которых вы говорите, всё же они на какой-нибудь дороге, всё же они трудятся. Ну, положим, как-нибудь своротили, как случается со всяким грешным; да есть надежда, что опять набредут. Кто идет — нельзя, чтоб не пришел; есть надежда, что и набредет. Но как тому попасть на какую-нибудь дорогу, кто остается праздно? Ведь дорога не придет ко мне.

— Поверьте мне, Афанасий Васильевич, я чувствую совершенно справедливость <вашу>, но говорю вам, что во мне решительно погибла, умерла всякая деятельность; не вижу я, что могу сделать какую-нибудь пользу кому-нибудь на свете. Я чувствую, что я решительно бесполезное бревно. Прежде, покамест был помоложе, так мне казалось, что все дело в деньгах, что если бы мне в руки сотни тысяч, я бы осчастливил множество: помог бы бедным художникам, завел бы библиотеки, полезные заведения, собрал бы коллекции. Я человек не без вкуса и, знаю, во многом мог бы гораздо лучше распорядиться тех наших богачей, которые все это делают бестолково. А теперь вижу, что и это суета, и в этом немного толку. Нет, Афанасий Васильевич, никуда не гожусь, ровно никуда, говорю вам. На малейшее дело не способен.

— Послушайте, Петр <Петрович>! Но ведь вы же молитесь, ходите в церковь, не пропускаете, я знаю, ни утрени, ни вечерни. Вам хоть и не хочется рано вставать, но ведь вы встаете и идете, — идете в четыре часа утра, когда никто не подымается.

— Это — другое дело, Афанасий Васильевич. Я это делаю для спасения души, потому что в убеждении, что этим хоть сколько-нибудь заглажу праздную жизнь, что как я ни дурен, но молитвы все-таки что-нибудь значат у Бога. Скажу вам, что я молюсь, — даже и без веры, но все-таки молюсь. Слышится только, что есть господин, от которого все зависят, как лошадь и скотина, которою пашем, знает чутьем того, <кто> запрягает.

— Стало быть, вы молитесь затем, чтобы угодить тому, которому молитесь, чтобы спасти свою душу, и это дает вам силы и заставляет вас подыматься рано с постели. Поверьте, что, если <бы> вы взяли за должность свою таким образом, как бы в уверенности, что служите тому, кому вы молитесь, у вас бы появилась деятельность, и вас никто из людей не в силах <был бы> охладить.

— Афанасий Васильевич! вновь скажу вам — это другое. В первом случае я вижу, что я все-таки делаю. Говорю вам, что я готов пойти в монастырь и самые тяжкие, какие на меня ни наложат, труды и подвиги я буду исполнять там. Я уверен, что не мое дело рассуждать, что взыщется <с тех>, которые заставили меня делать; там я повинуюсь и знаю, что Богу повинуюсь.

— А зачем же так вы не рассуждаете и в делах света? Ведь и в свете мы должны служить Богу, а не кому иному. Если и другому кому служим, мы потому только служим, будучи уверены, что так Бог велит, а без того мы бы и не служили. Что ж другое все способности и дары, которые разные у всякого? Ведь это орудия моленья нашего: то — словами, а это делом. Ведь вам же в монастырь нельзя идти: вы прикреплены к миру, у вас семейство.

Здесь Муразов замолчал. Хлобуев тоже замолчал.

— Так вы полагаете, что если бы, например, у <вас> было двести тысяч, так вы могли <бы> упрочить жизнь и повести отныне жизнь расчетливее?

— То есть по крайней мере я займусь тем, что можно будет сделать, — займусь воспитаньем детей, буду иметь в возможности доставить им хороших учителей.

— А сказать ли вам на это, Петр Петрович, что чрез два года будете опять кругом в

долгах, как в шнурках?

Хлобуев несколько помолчал и начал с расстановкою:

— Однако ж нет, после таких опытов...

— Да что ж опыты, — сказал Муразов. — Ведь я вас знаю. Вы человек с доброй душой: к вам придет приятель попросить займы — вы ему дадите; увидите бедного человека — вы захотите помочь; приятный гость придет к вам — захотите получше угостить, да и покоритесь первому доброму движенью, а расчет и позабываете. И позвольте вам наконец сказать по искренности, что детей-то своих вы не в состоянии воспитать. Детей своих воспитать может только тот отец, который уж сам выполнил долг свой. Да и супруга ваша... она и доброй души... она совсем не так воспитана, чтобы детей воспитать. Я даже думаю — извините меня, Петр Петрович, — не во вред ли детям будет даже и быть с вами!

Хлобуев призадумался; он начал себя мысленно осматривать со всех сторон и наконец почувствовал, что Муразов был прав отчасти.

— Знаете ли, Петр Петрович? отдайте мне на руки это — детей, дела; оставьте и семью вашу, и детей: я их приберегу. Ведь обстоятельства ваши таковы, что вы в моих руках; ведь дело идет к тому, чтобы умирать с голоду. Тут уже на все нужно решаться. Знаете ли вы Ивана Потапыча?

— И очень уважаю, даже несмотря на то что он ходит в сибирке.

— Иван Потапыч был миллионщик, выдал дочерей своих за чиновников, жил как царь; а как обанкрутился — что ж делать? — пошел в приказчики. Не весело-то было ему с серебряного блюда перейти за простую миску: казалось-то, что и руки ни к чему не подымались. Теперь Иван Потапыч мог бы хлебать с серебряного блюда, да уж не хочет. У него уж набралось бы опять, да он говорит: «Нет, Афанасий Иванович ³, служу я теперь уж не себе, и <не> для себя, а потому, что Бог так <судил>. По своей воле не хочу ничего делать. Слушаю вас, потому что Бога хочу слушаться, а не людей, и так как Бог устами лучших людей только говорит. Вы умнее меня, а потому не я отвечаю, а вы». Вот что говорит Иван Потапыч; а он, если сказать по правде, в несколько раз умнее меня.

— Афанасий Васильевич! вашу власть и я готов над собою <признать>, ваш слуга и что хотите: отдаюсь вам. Но не давайте работы свыше сил: я не Потапыч и говорю вам, что ни на что доброе не гожусь.

— Не я-с, Петр Петрович, наложу-с <на> вас, а так как вы хотели бы послужить, как говорите сами, так вот богоугодное дело. Строится в одном месте церковь доброхотным дательством благочестивых людей. Денег нестает, нужен сбор. Наденьте простую сибирку... ведь вы теперь простой человек, разорившийся дворянин и тот же нищий: что ж тут чиниться? — да с книгой в руках, на простой тележке и отправляйтесь по городам и деревням. От [архиерея](#) вы получите благословенье и шнурованную книгу, да и с богом.

Петр Петрович был изумлен этой совершенно новой должностью. Ему, все-таки дворянину некогда древнего рода, отправиться с книгой в руках просить на церковь, притом трястись на телеге! А между тем вывернуться и уклониться нельзя: дело богоугодное.

— Призадумались? — сказал Муразов. — Вы здесь две службы сослужите: одну службу Богу, а другую — мне.

— Какую же вам?

— А вот какую. Так как вы отправитесь по тем местам, где я еще не был, так вы узнаете-с на месте все: как там живут мужички, где побогаче, где терпят нужду и в каком состоянии все. Скажу вам, что мужичков люблю оттого, может быть, что я и сам из мужиков. Но дело в том, что завелось меж ними много всякой мерзости. [Раскольники](#) там и всякие-с бродяги смущают их, против властей их восстанавливают, против властей и порядков, а если человек притеснен, так он легко восстает. Что ж, будто трудно подстрекнуть человека, который, точно, терпит. Да дело в том, что не снизу должна начинаться расправа. Уж тогда плохо, когда пойдут на кулаки: уж тут толку не будет —

только вора пожива. Вы человек умный, вы рассмотрите, узнаете, где действительно терпит человек от других, а где от собственного беспокойного нрава, да и расскажете мне потом все это. Я вам на всякий случай небольшую сумму дам на раздачу тем, которые уже и действительно терпят безвинно. С вашей стороны будет также полезно утешить их словом и получше истолковать им то, что Бог велит переносить безропотно, и молиться в это время, когда несчастлив, а не буйствовать и расправляться самому. Словом, говорите им, никого не возбуждая ни против кого, а всех примиряя. Если увидите в ком противу кого бы то ни было ненависть, употребите все усилие.

— Афанасий Васильевич! дело, которое вы мне поручаете, — сказал Хлобуев, — святое дело; но вы вспомните, кому вы его поручаете. Поручить его можно человеку почти святой жизни, который бы и сам уже <умел> прощать другим.

— Да я и не говорю, чтобы все это вы исполнили, а по возможности, что можно. Дело-то в том, что вы все-таки приедете с познаниями тех мест и будете иметь понятие, в каком положении находится тот край. Чиновник никогда не столкнется с лицом, да и мужик-то с ним не будет откровенен. А вы, прося на церковь, заглянете ко всякому — и к мещанину, и к купцу, и будете иметь случай расспросить всякого. Говорю-с вам это по той причине, что генерал-губернатор особенно теперь нуждается в таких людях; и вы, мимо всяких канцелярских повышений, получите такое место, где не бесполезна будет ваша жизнь.

— Попробую, приложу старанья, сколько хватит сил, — сказал Хлобуев. И в голосе его было заметно ободренье, спина распрямилась, и голова приподнялась, как у человека, которому светит надежда. — Вижу, что вас Бог наградил разумением, и вы знаете иное лучше нас, близоруких людей.

— Теперь позвольте вас спросить, — сказал Муразов, — что ж Чичиков и какого роду <дело>?

— А <про> Чичикова я вам расскажу вещи неслыханные. Делает он такие дела... Знаете ли, Афанасий Васильевич, что завешание ведь ложное? Отыскалось настоящее, где все имение принадлежит воспитанницам.

— Что вы говорите? Да ложное-то завешание кто смастерил?

— В том-то и дело, что премерзейшее дело! Говорят, что Чичиков и что подписано завешание уже после смерти: нарядили какую-то бабу, наместо покойницы, и она уж подписала. Словом, дело соблазнительнейшее. Говорят, тысячи просьб поступило с разных сторон. К Марье Еремеевне теперь подъезжают женихи; двое уж чиновных лиц из-за нее дерутся. Вот какого роду дело, Афанасий Васильевич!

— Не слышал я об этом ничего, а дело, точно, не без греха. Павел Иванович Чичиков, признаюсь, для меня презагадочен, — сказал Муразов.

— Я подал от себя также просьбу, затем, чтобы напомнить, что существует ближайший наследник...

«А мне пусть их все передерутся, — думал Хлобуев, выходя. — Афанасий Васильевич не глуп. Он дал мне это порученье, верно, обдумавши. Исполнить его — вот и все». Он стал думать о дороге, в то время, когда Муразов все еще повторял в себе: «Презагадочный для меня человек Павел Иванович Чичиков! Ведь если бы с этакой волей и настойчивостью да на доброе дело!»

А между тем, в самом деле, по судам шли просьбы за просьбой. Оказались родственники, о которых и не слышал никто. Как птицы слетаются на мертвечину, так все налетело на несметное имущество, оставшееся после старухи. Доносы на Чичикова, на подложность последнего завешания, доносы на подложность и первого завешания, улики в покраже и в утаении сумм. Явились улики на Чичикова в покупке мертвых душ, в провозе контрабанды во время бытности его еще при таможене. Выкопали все, разузнали его прежнюю историю. Бог весть откуда все это пронюхали и знали. Только были улики даже и в таких делах, об которых, думал Чичиков, кроме его и четырех стен, никто не знал. Покамест все это было еще судейская тайна и до ушей его не дошло, хотя верная записка юрисконсульта, которую он вскоре получил, несколько дала ему понять, что каша

заварится. Записка была краткого содержания: «Спешу вас уведомить, что по делу будет возня: но помните, что тревожиться никак не следует. Главное дело — спокойствие. Обделаем все». Записка эта успокоила совершенно его. «Этот человек, точно, гений», — сказал Чичиков.

В довершение хорошего, портной в это время принес <платье>. <Чичиков> получил желанье сильное посмотреть на самого себя в новом фраке наваринского пламени с дымом. Натянул штаны, которые обхватили его чудесным образом со всех сторон, так что хоть рисуй. Ляжки так славно обтянуло, икры тоже, сукно обхватило все малости, сообщая им еще большую упругость. Как затянул он позади себя пряжку, живот стал точно барабан. Он ударил по нем тут щеткой, прибавив: «Ведь какой дурак, а в целом он составляет картину!» Фрак, казалось, был сшит еще лучше штанов: ни морщинки, все бока обтянул, выгнулся на перехвате, показавши весь его перегиб. Под правой мышкой немного жало, но от этого еще лучше прихватывало на талии. Портной, который стоял в полном торжестве, говорил только: «Будьте покойны, кроме Петербурга, нигде так не сошьют». Портной был сам из Петербурга и на вывеске выставил: «Иностранец из Лондона и Парижа». Шутить он не любил и двумя городами разом хотел заткнуть глотку всем другим портным, так, чтобы впредь никто не появился с такими городами, а пусть себе пишет из какого-нибудь [«Карлсеру»](#) или [«Копенгара»](#).

Чичиков великодушно расплатился с портным и, оставшись один, стал рассматривать себя на досуге в зеркале, как артист с эстетическим чувством и *сop amogе* ⁴. Оказалось, что все как-то было еще лучше, чем прежде: щечки интереснее, подбородок заманчивей, белые воротнички давали тон щеке, атласный синий галстук давал тон воротничкам; новомодные складки манишки давали тон галстуку, богатый бархатный <жилет> давал <тон> манишке, а фрак наваринского дыма с пламенем, блистая, как шелк, давал тон всему. Поворотился направо — хорошо! Поворотился налево — еще лучше! Перегиб такой, как у [камергера](#) или у такого господина, который так чешет по-французски, что перед ним сам француз ничего, который, даже и рассердясь, не срамит себя непристойно русским словом, даже и выбраться не умеет на русском языке, а расчет французским диалектом. Деликатность такая! Он попробовал, склоня головку несколько набок, принять позу, как бы адресовался к даме средних лет и последнего просвещения: выходила просто картина. Художник, бери кисть и пиши! В удовольствии, он совершил тут же легкий прыжок, вроде антраша. Вздрыгнул комод и шлепнулась на землю склянка с одеколоном; но это не причинило никакого помешательства. Он назвал, как и следовало, глупую склянку душой и подумал: «К кому теперь прежде всего явиться? Всего лучше...»

Как вдруг в передней — вроде некоторогобряканья сапогов с шпорами, и жандарм в полном вооружении, как <будто> в лице его было целое войско. «Приказано сей же час явиться к генерал-губернатору!» Чичиков так и обомлел. Перед ним торчало страшилище с усами, лошадиный хвост на голове, через плечо перевязь, через другое перевязь, огромный палаш привешен к боку. Ему показалось, что при другом боку висело и ружье, и черт знает что: целое войско в одном только! Он начал было возражать, страшило грубо заговорило: «Приказано сей же час!» Сквозь дверь в переднюю он увидел, что там мелькало и другое страшило, взглянул в окошко — и экипаж. Что тут делать? Так, как был, в фраке наваринского пламени с дымом, должен был сесть и, дрожа всем телом, отправился к генерал-губернатору, и жандарм с ним.

В передней не дали даже и опомниться ему. «Ступайте! вас князь уже ждет», — сказал дежурный чиновник. Перед ним, как в тумане, мелькнула передняя с курьерами, принимавшими пакеты, потом зала, через которую он прошел, думая только: «Вот как схватит, да без суда, без всего, прямо в Сибирь!» Сердце его забилося с такой силою, с какой не бьется даже у наиревнивейшего любовника. Наконец растворилась пред ним дверь: предстал кабинет, с портфелями, шкафами и книгами, и князь гневный, как сам гнев.

— Губитель, губитель! — сказал Чичиков. — Он мою душу погубит, зарежет, как волк

агнца!

— Я вас пощадил, я позволил вам остаться в городе, тогда как вам следовало бы в острог; а вы запятнали себя вновь бесчестнейшим мошенничеством, каким когда-либо запятнал себя человек.

Губы князя дрожали от гнева.

— Каким же, ваше сиятельство, бесчестнейшим поступком и мошенничеством? — спросил Чичиков, дрожа всем телом.

— Женщина, — произнес князь, подступая несколько ближе и смотря прямо в глаза Чичикову, — женщина, которая подписывала по вашей диктовке завещание, схвачена и станет с вами на очную ставку.

Чичиков стал бледен как полотно.

— Ваше сиятельство! Скажу всю истину дела. Я виноват; точно, виноват; но не так виноват. Меня обнесли враги.

— Вас не может никто обнести, потому что в вас мерзостей в несколько раз больше того, что может <выдумать> последний лжец. Вы во всю свою жизнь, я думаю, не делали небесчестного дела. Всякая копейка, добытая вами, добыта бесчестно, есть воровство и бесчестнейшее дело, за которое кнут и Сибирь! Нет, теперь полно! С сей же минуты будешь отведен в острог и там, наряду с последними мерзавцами и разбойниками, ты должен <ждать> разрешения участи своей. И это милостиво еще, потому что <ты> хуже их в несколько <раз>: они в армяке и тулупе, а ты...

Он взглянул на фрак наваринского пламени с дымом и, взявшись за шнурок, позвонил.

— Ваше сиятельство, — вскрикнул Чичиков, — умиосердитесь! Вы отец семейства. Не меня пощадите — старуха мать!

— Врешь! — вскрикнул гневно князь. — Так же ты меня тогда умолял детьми и семейством, которых у тебя никогда не было, теперь — матерью!

— Ваше сиятельство, я мерзавец и последний негодяй, — сказал Чичиков голосом... ⁵ — Я действительно лгал, я не имел ни детей, ни семейства; но, вот Бог свидетель, я всегда хотел иметь жену, исполнить долг человека и гражданина, чтобы действительно потом заслужить уважение граждан и начальства... Но что за бедственные стечения обстоятельств! Кровью, ваше сиятельство, кровью нужно было добывать насущное существование. На всяком шагу соблазны и искушение... враги, и губители, и похитители. Вся жизнь была — точно вихорь буйный или судно среди волн по воле ветров. Я — человек, ваше сиятельство!

Слезы вдруг хлынули ручьями из глаз его. Он повалился в ноги князю, так, как был, во фраке наваринского пламени с дымом, в бархатном жилете с атласным галстуком, новых штанах и причесанных волосах, изливавших чистый запах одеколونا.

— Поди прочь от меня! Позвать, чтобы его взяли, солдат! — сказал князь взошедшим.

— Ваше сиятельство! — кричал <Чичиков> и обхватил обеими руками сапог князя.

Чувство содроганья пробежало по всем жилам <князя>.

— Подите прочь, говорю вам! — сказал он, усиливаясь вырвать свою ногу из объятий Чичикова.

— Ваше сиятельство! не сойду с места, покуда не получу милости! — говорил <Чичиков>, не выпуская сапог князя и проехавшись, вместе с ногой, по полу в фраке наваринского пламени и дыма.

— Подите, говорю вам! — говорил он с тем неизъяснимым чувством отвращения, какое чувствует человек при виде безобразнейшего насекомого, которого нет духу раздавить ногой. Он страхнул так, что Чичиков почувствовал удар сапога в нос, губы и округленный подбородок, но не выпустил сапога и еще с большей силой держал ногу в своих объятиях. Два дюжих жандарма в силах оттащили его и, взявши под руки, повели через все комнаты. Он был бледный, убитый, в том бесчувственно-страшном состоянии, в каком бывает человек, видящий перед собою черную, неотвратимую смерть, это страшилище, противное естеству нашему...

В самых дверях на лестницу навстречу — Муразов. Луч надежды вдруг скользнул. В один миг с силой неестественной вырвался он из рук обоих жандармов и бросился в ноги изумленному старику.

— Батюшка, Павел Иванович, что с вами?

— Спасите! ведут в острог, на смерть...

Жандармы схватили его и повели, не дали даже и услышать.

Промозглый сырой чулан с запахом сапогов и онуч гарнизонных солдат, некрашенный стол, два скверных стула, с железною решеткой окно, дряхлая печь, сквозь щели которой шел дым и не давало тепла, — вот обиталище, где помещен был наш <герой>, уже было начинавший вкушать сладость жизни и привлекать внимание соотечественников в тонком новом фраке наваринского пламени и дыма. Не дали даже ему распорядиться взять с собой необходимые вещи, взять шкатулку, где были деньги. Бумаги, крепости на мертвые <души> — все было теперь у чиновников! Он повалился на землю, и плотоядный червь грусти страшной, безнадежной обвился около его сердца. С возрастающей быстротой стала точить она это сердце, ничем не защищенное. Еще день такой, день такой грусти, и не было <бы> Чичикова вовсе на свете. Но и над Чичиковым не дремствовала чья-то всеспасающая рука. Час спустя двери тюрьмы растворились: взошел старик Муразов.

Если бы терзаемому палящей жаждой влил кто в засохнувшее горло струю ключевой воды, то он бы не оживился так, как оживился бедный Чичиков.

— Спаситель мой! — сказал Чичиков и, схвативши вдруг его руку, быстро поцеловал и прижал к груди. — Бог да наградит вас за то, что посетили несчастного!

Он залился слезами.

Старик глядел на него скорбно-болезненным взором и говорил только:

— Ах, Павел, Павел Иванович! Павел Иванович, что вы сделали?

— Я подлец... Виноват... Я преступил... Но посудите, посудите, разве можно так поступать? Я — дворянин. Без суда, без следствия, бросить в тюрьму, отобрать все от меня: вещи, шкатулка... там деньги, там все имущество, там все мое имущество, Афанасий Васильевич, — имущество, которое кровным потом приобрел...

И, не в силах будучи удерживать порыва вновь подступившей к сердцу грусти, он громко зарыдал голосом, проникнувшим толщу стен острога и глухо отозвавшимся в отдаленье, сорвал с себя атласный галстук и, схвативши рукою около воротника, разорвал на себе фрак наваринского пламени с дымом.

— Павел Иванович, все равно: и с имуществом, и со всем, что ни есть на свете, вы должны проститься. Вы подпали под неумолимый закон, а не под власть какого человека.

— Сам погубил себя, сам знаю — не умел вовремя остановиться. Но за что же такая страшная <кара>, Афанасий Васильевич? Я разве разбойник? От меня разве пострадал кто-нибудь? Разве я сделал кого несчастным? Трудом и потом, кровавым потом добывал копейку. Зачем добывал копейку? Затем, чтобы в довольстве прожить остаток дней, оставить что-нибудь детям, которых намеревался приобрести для блага, для службы отечеству. Покривил, не спорю, покривил... что ж делать? Но ведь покривил, увидя, что прямой дорогой не возьмешь и что косою дорогой больше напрямик. Но ведь я трудился, я изошрялся. А эти мерзавцы, которые по судам берут тысячи с казны, иль небогатых людей грабят, последнюю копейку сдирают с того, у кого нет ничего!.. Афанасий Васильевич! Я не блудничал, я не пьянствовал. Да ведь сколько трудов, сколько железного терпенья! Да я, можно сказать, выкупил всякую добытую копейку страданиями, страданиями! Пусть их кто-нибудь выстрадает то, что я! Ведь что вся жизнь моя: лютая борьба, судно среди волн. И потеряно, Афанасий Васильевич, то, что приобретено такой борьбой...

Он не договорил и зарыдал громко от нестерпимой боли сердца, упал на стул, и оторвал совсем висевшую разорванную полу фрака, и швырнул ее прочь от себя, и, запустивши обе руки себе в волосы, об укрепленье которых прежде старался, безжалостно рвал их, услаждаясь болью, которою хотел заглушить ничем не угасимую боль сердца.

— Ах, Павел Иванович, Павел Иванович! — говорил <Муразов>, скорбно смотря на

него и качая <головой>. — Я все думаю о том, какой бы из вас был человек, если бы так же, и силою и терпением, да подвизались бы на добрый труд и для лучшей <цели>! Если бы хоть кто-нибудь из тех людей, которые любят добро, да употребили бы столько усилий для него, как вы для добывания своей копейки!.. да умели бы так пожертвовать для добра и собственным самолюбием, и честолубием, не жалея себя, как вы не жалели для добывания своей копейки!..

— Афанасий Васильевич! — сказал бедный Чичиков и схватил его обеими руками за руки. — О, если бы удалось мне освободиться, возвратить мое имущество! клянусь вам, повел бы отныне совсем другую жизнь! Спасите, благодетель, спасите!

— Что ж могу я сделать? Я должен воевать с законом. Положим, если бы я даже и решился на это, но ведь князь справедлив — он ни за что не отступит.

— Благодетель! вы все можете сделать. Не закон меня страшит, — я перед законом найду средства, — но то, что неповинно я брошен в тюрьму, что я пропаду здесь, как собака, и что мое имущество, бумаги, шкатулка... спасите!

Он обнял ноги старика, облил их слезами.

— Ах, Павел Иванович, Павел Иванович! — говорил старик Муразов, качая <головою>. — Как вас ослепило это имущество! Из-за него вы и бедной души своей не слышите!

— Подумаю и о душе, но спасите!

— Павел Иванович! — сказал старик Муразов и остановился. — Спасти вас не в моей власти — вы сами видите. Но приложу старанье, какое могу, чтобы облегчить вашу участь и освободить. Не знаю, удастся ли это сделать, но буду стараться. Если же, паче чаянья, удастся, Павел Иванович, — я попрошу у вас награды за труды: бросьте все эти поползновенья на эти приобретения. Говорю вам по чести, что если бы я и всего лишился моего имущества, — а у меня его больше, чем у вас, — я бы не заплакал. Ей-ей, <дело> не в этом имуществе, которое могут у меня конфисковать, а в том, которого никто не может украсть и отнять! Вы уж пожили на свете довольно. Вы сами называете жизнь свою судном среди волн. У вас есть уже чем прожить остаток дней. Поселитесь себе в тихом уголке, поближе к церкви и простым, добрым людям; или, если знобит сильное желание оставить по себе потомков, женитесь на небогатой доброй девушке, привыкшей к умеренности и простому хозяйству. Забудьте этот шумный мир и все его обольстительные прихоти; пусть и он вас позабудет. В нем нет успокоенья. Вы видите: все в нем враг, искушитель или предатель.

Чичиков задумался. Что-то странное, какие-то неведомые дотоле, незнакомые чувства, ему необъяснимые, пришли к нему: как будто хотело в нем что-то пробудиться, что-то подавленное из детства суровым, мертвым поученьем, бесприветностью скучного детства, пустынностью родного жилища, бессемейным одиночеством, нищетой и бедностью первоначальных впечатлений, суровым взглядом судьбы, взглянувшей на него скучно, сквозь какое-то мутно занесенное зимней выюгой окно.

— Спасите только, Афанасий Васильевич! — вскричал он, — поведу другую жизнь, последую вашему совету! Вот вам мое слово!

— Смотрите же, Павел Иванович, от слова не отступитесь, — сказал Муразов, держа его руку.

— Отступился бы, может быть, если бы не такой страшный урок, — сказал, вздохнувши, бедный Чичиков и прибавил: — Но урок тяжел; тяжел, тяжел урок, Афанасий Васильевич!

— Хорошо, что тяжел. Благодарите за это Бога, помолитесь. Я пойду о вас стараться. Сказавши это, старик вышел.

Чичиков уже не плакал, не рвал на себе фрака и волос: он успокоился.

— Нет, полно! — сказал он наконец, — другую, другую жизнь. Пора в самом деле сделаться порядочным. О, если бы мне как-нибудь только выпутаться и уехать хоть с небольшим капиталом, поселюсь вдали от... А купчие?... — Он подумал: «Что ж? зачем

оставить это дело, стольким трудом приобретенное?.. Больше не стану покупать, но заложить те нужно. Ведь приобретение это стоило трудов! Это я заложу, заложу, с тем чтобы купить на деньги поместье. Сделаюсь помещиком, потому что тут можно сделать много хорошего». И в мыслях его пробудились те чувства, которые овладели им, когда он был <у> Костанжогло, и милая, при греющем свете вечернем, умная беседа хозяина о том, как плодотворно и полезно заняться поместьем. Деревня так вдруг представилась ему прекрасно, точно как бы он в силах был почувствовать все прелести деревни.

— Глупы мы, за суетой гоняемся! — сказал он наконец. — Право, от безделья! Все близко, все под рукой, а мы бежим за тридевять <земель>. Чем не жизнь, если займешься хоть бы и в глуши? Ведь удовольствие действительно в труде. И ничего нет слаще, как плод собственных трудов... Нет, займусь трудом, поселюсь в деревне, и займусь честно, так, чтобы иметь доброе влияние и на других. Что ж в самом деле, будто я уже совсем негодный? У меня есть способности к хозяйству; я имею качества и бережливости, и расторопности, благоразумия, даже постоянства. Стоит только решиться, чувствую, что есть. Теперь только истинно и ясно чувствую, что есть какой-то долг, который нужно исполнять человеку на земле, не отрываясь от того места и угла, на котором он поставлен.

И трудолюбивая жизнь, удаленная от шума городов и тех обольщений, которые от праздности выдумал, позабывши труд, человек, так сильно стала перед ним рисоваться, что он уже почти позабыл всю неприятность своего положения и, может быть, готов был даже возблагодарить провиденье за этот тяжелый <урок>, если только выпустят его и отдадут хотя часть. Но... одностворчатая дверь его нечистого чулана растворилась, вошла чиновная особа — Самосвистов, эпикуреец, собой лихач, отличный товарищ, кутила и продувная бестия, как выражались о нем сами товарищи. В военное время человек этот наделал бы чудес: его бы послать куда-нибудь пробраться сквозь непроходимые, опасные места, украсть перед носом у самого неприятеля пушку — это его бы дело. Но, за неимением военного поприща, на котором бы, может быть, он был честным человеком, он пакостил и гадил. Непостижимое дело! с товарищами он был хорош, никого не продавал и, давши слово, держал; но высшее над собою начальство он считал чем-то вроде неприятельской батареи, сквозь которую нужно пробиваться, пользуясь всяким слабым местом, проломом или упущением...

— Знаем все об вашем положении, все услышали! — сказал он, когда увидел, что дверь за ним плотно затворилась. — Ничего, ничего! Не робейте: все будет поправлено. Все станет работать за вас и — ваши слуги! Тридцать тысяч на всех — и ничего больше.

— Будто? — вскрикнул Чичиков. — И я буду совершенно оправдан?

— Кругом! еще и вознаграждение получите за убытки.

— И за труд?..

— Тридцать тысяч. Тут уже все вместе — и нашим, и генерал-губернаторским, и секретарю.

— Но позвольте, как же я могу? Мои все вещи... шкатулка... все это теперь запечатано, под присмотром...

— Через час получите все. По рукам, что ли?

Чичиков дал руку. Сердце его билось, и он не доверял, чтобы это было возможно...

— Пока прощайте! Поручил вам <сказать> наш общий приятель, что главное дело — спокойствие и присутствие духа.

«Гм! — подумал Чичиков, — понимаю: юрисконсульт!»

Самосвистов скрылся. Чичиков, оставшись, все еще не доверял словам, как не прошло часа после этого разговора, как была принесена шкатулка: бумаги, деньги — и всё в наилучшем порядке. Самосвистов явился в качестве распорядителя: выбрал поставленных часовых за то, что небдительно смотрели, приказал приставить еще лишних солдат для усиления присмотра, взял не только шкатулку, но отобрал даже все такие бумаги, которые могли бы чем-нибудь компрометировать Чичикова; связал все это

вместе, запечатал и повелел самому солдату отнести немедленно к самому Чичикову, в виде необходимых ночных и спальных вещей, так что Чичиков, вместе с бумагами, получил даже и все теплое, что нужно было для покрытия брэнного его тела. Это скорое доставление обрадовало его несказанно. Он возымел сильную надежду, и уже начали ему вновь грезиться кое-какие приманки: вечером театр, плясунья, за которою он волочился. Деревня и тишина стали бледней, город и шум — опять ярче, ясней... О, жизнь!

А между тем завязалось дело размера беспредельного в судах и палатах. Работали перья писцов, и, понюхивая табак, трудились казусные головы, любуясь, как художники, крючковой строкой. Юрисконсульт, как скрытый маг, незримо ворочал всем механизмом; всех опутал решительно, прежде чем кто успел осмотреться. Путаница увеличилась. Самосвистов превзошел самого себя отважностью и дерзостью неслыханною. Узнавши, где караулилась схваченная женщина, он явился прямо и вошел таким молодцом и начальником, что часовой сделал ему честь и вытянулся в струнку.

— Давно ты здесь стоишь?

— С утра, ваше благородие!

— Долго до смены?

— Три часа, ваше благородие!

— Ты мне будешь нужен. Я скажу офицеру, чтобы наместо тебя отрядил другого.

— Слушаю, ваше благородие!

И, уехав домой, ни минуты не медля, чтобы не замешивать никого и все концы в воду, сам нарядился жандармом, оказался в усах и бакенбардах — сам черт бы не узнал. Явился в доме, где был Чичиков, и, схвативши первую бабу, какая попалась, сдал ее двум чиновным молодцам, докам тоже, а сам прямо явился в усах и с ружьем, как следует, к часовым:

— Ступай, меня прислал командир выстоять, наместо тебя, смену. — Обменялся с часовым и стал сам с ружьем.

Только этого было и нужно. В это время наместо прежней бабы очутилась другая, ничего не знавшая и не понимавшая. Прежнюю запрятали куды-то так, что и потом не узнали, куда она делась. В то время, когда Самосвистов подвизался в лице воина, юрисконсульт произвел чудеса на гражданском поприще: губернатору дал знать стороною, что прокурор на него пишет донос; жандармскому чиновнику дал знать, <что> секретно проживающий чиновник пишет на него доносы; секретно проживавшего чиновника уверил, что есть еще секретнейший чиновник, который на него доносит, — и всех привел в такое положение, что к нему должны были обратиться за советами. Произошла такая бестолковщина: донос сел верхом на доносе, и пошли открываться такие дела, которых и солнце не видало, и даже такие, которых и не было. Все пошло в работу и в дело: и кто незаконнорожденный сын, и какого рода и звания у кого любовница, и чья жена за кем волочится. Скандалы, соблазны и все так замешалось и сплелось вместе с историей Чичикова, с мертвыми душами, что никоим образом нельзя было понять, которое из этих дел было главнейшая чепуха: оба казались равного достоинства. Когда стали наконец поступать бумаги к генерал-губернатору, бедный князь ничего не мог понять. Весьма умный и расторопный чиновник, которому поручено было сделать [экстракт](#), чуть не сошел с ума: никаким образом нельзя было поймать нити дела. Князь был в это время озабочен множеством других дел, одно другого неприятнейших. В одной части губернии оказался голод. Чиновники, посланные раздать хлеб, как-то не так распорядились, как следовало. В другой части губернии расшевелились раскольники. Кто-то пропустил между ними, что народился антихрист, который и мертвым не дает покоя, скупая какие-то мертвые души. Каялись и грешили и, под видом изловить антихриста, ужокошили неантихристов. В другом месте мужики взбунтовались против помещиков и капитан-исправников. Какие-то бродяги пропустили между ними слухи, что наступает такое время, что мужики должны <быть> помещики и нарядиться во фраки, а помещики нарядятся в армяки и будут мужики, — и целая волость, не размыслив того, что слишком

много выйдет тогда помещиков и капитан-исправников, отказалась платить всякую подать. Нужно было прибегнуть к насильственным мерам. Бедный князь был в самом расстроенном состоянии духа. В это время доложили ему, что пришел откупщик.

— Пусть войдет, — сказал князь.

Старик взошел...

— Вот вам Чичиков! Вы стояли за него и защищали. Теперь он попался в таком деле, на какое последний вор не решится.

— Позвольте вам доложить, ваше сиятельство, что я не очень понимаю это дело.

— Подлог завещания, и еще какой!.. Публичное наказание плетьюми за этакое дело!

— Ваше сиятельство, скажу не с тем, чтобы защищать Чичикова. Но ведь это дело не доказанное: следствие еще не сделано.

— Улика: женщина, которая была наряжена наместо умершей, схвачена. Я ее хочу расспросить нарочно при вас. — Князь позвонил и дал приказ позвать ту женщину.

Муразов замолчал.

— Бесчестнейшее дело! И, к стыду, замешались первые чиновники города, сам губернатор. Он не должен быть там, где воры и бездельники! — сказал князь с жаром.

— Ведь губернатор — наследник; он имеет право на притязания; а что другие-то со всех сторон прицепились, так это-с, ваше сиятельство, человеческое дело. Умерла-с богатая, распоряженья умного и справедливого не сделала; слетелись со всех сторон охотники поживиться — человеческое дело...

— Но ведь мерзости зачем же делать?.. Подлецы! — сказал князь с чувством негодования. — Ни одного чиновника нет у меня хорошего: все — мерзавцы!

— Ваше сиятельство! да кто ж из нас, как следует, хорош? Все чиновники нашего города — люди, имеют достоинства и многие очень знающие в деле, а от греха всяк близок.

— Послушайте, Афанасий Васильевич, скажите мне, я вас одного знаю за честного человека, что у вас за страсть защищать всякого рода мерзавцев?

— Ваше сиятельство, — сказал Муразов, — кто бы ни был человек, которого вы называете мерзавцем, но ведь он человек. Как же не защищать человека, когда знаешь, что он половину зол делает от грубости и неведения? Ведь мы делаем несправедливости на всяком шагу и всякую минуту бываем причиной несчастья другого, даже и не с дурным намереньем. Ведь ваше сиятельство сделали также большую несправедливость.

— Как! — воскликнул в изумлении князь, совершенно пораженный таким неожиданным оборотом речи.

Муразов остановился, помолчал, как бы соображая что-то, и наконец сказал:

— Да вот хоть бы [по делу Дерпенникова](#).

— Афанасий Васильевич! Преступление против коренных государственных законов, равное измене земле своей!..

— Я не оправдываю его. Но справедливо ли то, если юношу, который по неопытности своей был обольщен и сманен другими, осудить так, как и того, который был один из зачинщиков? Ведь участь постигла ровная и Дерпенникова, и какого-нибудь [Вороного-Дрянного](#); а ведь преступления их не равны.

— Ради Бога... — сказал князь с заметным волнением, — вы что-нибудь знаете об этом? скажите. Я именно недавно послал еще прямо в Петербург об смягчении его участи.

— Нет, ваше сиятельство, я не насчет того говорю, чтобы я знал что-нибудь такое, чего вы не знаете. Хотя, точно, есть одно такое обстоятельство, которое бы послужило в его пользу, да он сам не согласится, потому <что> через это пострадал бы другой. А я думаю только то, что не изволили ли вы тогда слишком поспешить. Извините, ваше сиятельство, я сужу по своему слабому разуму. Вы несколько раз приказывали мне откровенно говорить. У меня-с, когда я еще был начальником, много было всяких работников, и дурных и хороших... Следовало бы тоже принять во внимание и прежнюю жизнь человека, потому что, если не рассмотришь все хладнокровно, а накричишь с

первого раза, — запугаешь только его, да и признанья настоящего не добьешься, а как с участием его расспросишь, как брат брата, — сам все выскажет и даже не просит о смягчении, и ожесточенья ни против кого нет, потому что ясно видит, что не я его наказываю, а закон.

Князь задумался. В это время вошел молодой чиновник и почтительно остановился с портфелем. Забота, труд выражались на его молодом и еще свежем лице. Видно было, что он недаром служил по особым порученьям. Это был один из числа тех немногих, который занимался делопроизводством *con amore*. Не сгорая ни честолюбьем, ни желаньем прибытков, ни подражаньем другим, он занимался только потому, что был убежден, что ему нужно быть здесь, а не на другом месте, что для этого дана ему жизнь. Следить, разобрать по частям и, поймавши все нити запутаннейшего дела, разъяснить его — это было его дело. И труды, и старания, и бессонные ночи вознаграждались ему изобильно, если дело наконец начинало перед ним объясняться, сокровенные причины обнаруживаться, и он чувствовал, что может передать его все в немногих словах, отчетливо и ясно, так что всякому будет очевидно и понятно. Можно сказать, что не столько радовался ученик, когда пред ним раскрывалась какая-⁶нибудь труднейшая фраза и обнаруживается настоящий смысл мысли великого писателя, как радовался он, когда пред ним распутывалось запутаннейшее дело. Зато...

⁷ — ...хлебом в местах, где голод; я эту часть получше знаю чиновников: рассмотрю самолично, что кому нужно. Да если позволите, ваше сиятельство, я поговорю и с раскольниками. Они-то с нашим братом, с простым человеком, охотнее разговаривают. Так, бог весть, может быть, помогу уладить с ними миролюбиво. А денег-то от вас я не возьму, потому что, ей-богу, стыдно в такое время думать о своей прибыли, когда умирают с голода. У меня есть в запасе готовый хлеб; я и теперь еще послал в Сибирь, и к будущему лету вновь подвезут.

— Вас может только наградить один Бог за такую службу, Афанасий Васильевич. А я вам не скажу ни одного слова, потому что, — вы сами можете чувствовать, — всякое слово тут бессильно. Но позвольте мне одно сказать насчет той просьбы. Скажите сами: имею ли я право оставить это дело без внимания и справедливо ли, честно ли с моей стороны будет простить мерзавцев.

— Ваше сиятельство, ей-богу, этак нельзя называть, тем более что из <них> есть многие весьма достойные. Затруднительны положенья человека, ваше сиятельство, очень, очень затруднительны. Бывает так, что, кажется, кругом виноват человек; а как войдешь — даже и не он.

— Но что скажут они сами, если оставлю? Ведь есть из них, которые после этого еще больше подымут нос и будут даже говорить, что они напугали. Они первые будут не уважать...

— Ваше сиятельство, позвольте мне вам дать свое мнение: соберите их всех, дайте им знать, что вам все известно, и представьте им ваше собственное положение точно таким самым образом, как вы его изволили изобразить сейчас передо мной, и спросите у них совета: что <бы> из них каждый сделал на вашем положении?

— Да вы думаете, им будут доступны движенья благороднейшие, чем каверзничать и наживаться? Поверьте, они надо мной посмеются.

— Не думаю-с, ваше сиятельство. У [русского] человека, даже и у того, кто похуже других, все-таки чувство справедливо. Разве жид какой-нибудь, а не русский. Нет, ваше сиятельство, вам нечего скрываться. Скажите так точно, как изволили перед <мной>. Ведь они вас поносят, как человека честолюбивого, гордого, который и слышать ничего не хочет, уверен в себе, — так пусть же увидят всё, как оно есть. Что ж вам? Ведь ваше дело правое. Скажите им так, как бы вы не пред ними, а пред самим Богом принесли свою исповедь.

— Афанасий Васильевич, — сказал князь в раздумье, — я об этом подумаю, а покуда благодарю вас очень за совет.

— А Чичикова, ваше сиятельство, прикажите отпустить.

— Скажите этому Чичикову, чтобы он убирался отсюда как можно поскорей, и чем дальше, тем лучше. Его-то уже я бы никогда не простил.

Муразов поклонился и прямо от князя отправился к Чичикову. Он нашел Чичикова уже в духе, весьма покойно занимавшегося довольно порядочным обедом, который был ему принесен в фаянсовых судках из какой-то весьма порядочной кухни. По первым фразам разговора старик заметил тотчас, что Чичиков уже успел переговорить кое с кем из чиновников-казусников. Он даже понял, что сюда вмешалось невидимое участие знатока-юрисконсульта.

— Послушайте-с, Павел Иванович, — сказал он, — я привез вам свободу на таком условии, чтобы сейчас вас не было в городе. Собирайте все пожитки свои — да и с богом, не откладывая ни минуту, потому что дело еще хуже. Я знаю-с, вас тут один человек настраивает; так объявляю вам по секрету, что такое еще дело одно открывается, что уж никакие силы не спасут этого. Он, конечно, рад других топить, чтобы нескучно, да дело к разделке. Я вас оставил в располужение хорошем — лучшем, нежели в каком тепер. Советую вам-с не в шутку. Ей-~~ей~~ дело не в этом имуществе, из-за которого спорят и режут друг друга люди, точно как можно завести благоустройство в здешней жизни, не помысливши о другой жизни. Поверьте-с, Павел Иванович, что покамест, броса все то, из-за чего грызут и едят друг друга на земле, не подумают о благоустройстве душевного имущества, не установится благоустройство и земного имущества. Наступят времена голода и бедности, как во всем народе, так и порознь во всяком... Это-с ясно. Что ни говорите, ведь от души зависит тело. Как же хотеть, чтобы <шло> как следует. Подумайте не о мертвых душах, а <о> своей живой душе, да и с богом на другую дорогу! Я тож выезжаю завтрашний день. Поторопитесь! не то без меня беда будет.

Сказавши это, старик вышел. Чичиков задумался. Значение жизни опять показалось немаловажным. «Муразов прав, — сказал он, — пора на другую дорогу!» Сказавши это, он вышел из тюрьмы. Часовой потащил за ним шкатулку, другой — чемодан белья. Селифан и Петрушка обрадовались, как бог знает чему, освобождению барина.

— Ну, любезные, — сказал Чичиков, обратившись <к ним> милостиво, — нужно укладываться да ехать.

— Покатим, Павел Иванович, — сказал Селифан. — Дорога, должно быть, установилась: снегу выпало довольно. Пора уж, право, выбраться из города. Надоел он так, что и глядеть на него не хотел бы.

— Ступай к каретнику, чтобы поставил коляску на полозки, — сказал Чичиков, а сам пошел в город, но ни <к> кому не хотел заходить отдавать прощальных визитов. После всего этого события было и неловко, — тем более что о нем множество ходило в городе самых неблагоприятных историй. Он избегал всяких встреч и зашел потихоньку только к тому купцу, у которого купил сукна наваринского пламени с дымом, взял вновь четыре аршина на фрак и на штаны и отправился сам к тому же портному. За двойную <цену> мастер решился усилить рвение и засадил всю ночь работать при свечах портное народонаселение — иглами, утюгами и зубами, и фрак на другой день был готов, хотя и немножко поздно. Лошади все были запряжены. Чичиков, однако ж, фрак примерил. Он был хорош, точь-точь как прежний. Но, увы! он заметил, что в голове уже белело что-то гладкое, и примолвил грустно: «И зачем было предаваться так сильно сокрушению? А рвать волос не следовало бы и подавно». Расплатившись с портным, он выехал наконец из города в каком-то странном положении. Это был не прежний Чичиков. Это была какая-то развалина прежнего Чичикова. Можно было сравнить его внутреннее состояние души с разобранным строением, которое разобрано с тем, чтобы строить из него же новое; а новое еще не начиналось, потому что не пришел от архитектора определительный план и работники остались в недоумение. Часом прежде его отправился старик Муразов, в рогоженной кибитке, вместе с Потапычем, а часом после отъезда Чичикова пошло приказание, что князь, по случаю отъезда в Петербург, желает видеть всех чиновников до

едина.

В большом зале генерал-губернаторского дома собралось все чиновное сословие города, начиная от губернатора до титулярного советника: правители канцелярий и дел, советники, ассессоры, Кислоседов, Краснонос, Самосвилов, не бравшие, бравшие, кривившие душой, полукривившие и вовсе не кривившие, — все ожидало с некоторым не совсем спокойным ожиданием генеральского выхода. Князь вышел ни мрачный, ни ясный: взор его был тверд, так же как и шаг... Все чиновное собрание поклонилось, многие — в пояс. Ответив легким поклоном, князь начал:

— Уезжая в Петербург, я почел приличным повидаться с вами всеми и даже объяснить вам отчасти причину. У нас завязалось дело очень соблазнительное. Я полагаю, что многие из предстоящих знают, о каком деле я говорю. Дело это повело за собою открытие и других, не менее бесчестных дел, в которых замешались даже наконец и такие люди, которых я доселе почитал честными. Известна мне даже и сокровенная цель спутать таким образом все, чтобы оказалась полная невозможность решить формальным порядком. Знаю даже, и кто главная пружина и чьим сокровенным... ⁸, хотя он и очень искусно скрыл свое участие. Но дело в том, что я намерен это следить не формальным следованьем по бумагам, а военным быстрым судом, как в военное <время>, и надеюсь, что государь мне даст это право, когда я изложу все это дело. В таком случае, когда нет возможности произвести дело гражданским образом, когда горят шкафы с <бумагами> и, наконец, излишеством лживых посторонних показаний и ложными доносами стараются затемнить и без того довольно темное дело, — я полагаю военный суд единственным средством и желаю знать мнение ваше.

Князь остановился, как <бы> ожидая ответа. Все стояло, потупив глаза в землю. Многие были бледны.

— Известно мне также еще одно дело, хотя производившие его в полной уверенности, что оно никому не может быть известно. Производство его уже пойдет не по бумагам, потому что истцом и челобитчиком я буду уже сам и представлю очевидные доказательства.

Кто-то вздрогнул среди чиновного собрания; некоторые из боязливейших тоже смутились.

— Само по себе, что главным зачинщикам должно последовать лишение чинов и имущества, прочим — отрешение от мест. Само собою разумеется, что в числе их пострадает и множество невинных. Что ж делать? Дело слишком бесчестное и вопиет о правосудии. Хотя я знаю, что это будет даже и не в урок другим, потому что наместо выгнанных явятся другие, и те самые, которые дотоле были честны, сделаются бесчестными, и те самые, которые удостоены будут доверенности, обманут и продадут, — несмотря на все это, я должен поступить жестоко, потому что вопиет правосудие. Знаю, что меня будут обвинять в суровой жестокости, но знаю, что те будут еще... ⁹ меня те же обвинять... Я должен обратиться теперь только в одно бесчувственное орудие правосудия, в топор, который должен упасть на головы.

Содроганье невольно пробежало по всем лицам.

Князь был спокоен. Ни гнева, ни возмущения душевного не выражало его лицо.

— Теперь тот самый, у которого в руках участь многих и которого никакие просьбы не в силах были умолишь, тот самый бросается теперь к ногам вашим, вас всех просит. Все будет позабыто, изглажено, прощено; я буду сам ходатаем за всех, если исполните мою просьбу. Вот моя просьба. Знаю, что никакими средствами, никакими страхами, никакими наказаниями нельзя искоренить неправды: она слишком уже глубоко вкоренилась. Бесчестное дело брать взятки сделалось необходимостью и потребностью даже и для таких людей, которые и не рождены быть бесчестными. Знаю, что уже почти невозможно многим идти противу всеобщего течения. Но я теперь должен, как в решительную и священную минуту, когда приходится спасать свое отечество, когда всякий гражданин несет все и жертвует всем, — я должен сделать клич хотя к тем, у которых еще есть в

груди русское сердце и понятно сколько-нибудь слово «благородство». Что тут говорить о том, кто более из нас виноват! Я, может быть, больше всех виноват; я, может быть, слишком сурово вас принял вначале; может быть, излишней подозрительностью я оттолкнул из вас тех, которые искренно хотели мне быть полезными, хотя и я, с своей стороны, мог бы также сделать <им упрек>. Если они уже действительно любили справедливость и добро своей земли, не следовало бы им оскорбиться на надменность моего обращения, следовало бы им подавить в себе собственное честолюбие и пожертвовать своей личностью. Не может быть, чтобы я не заметил их самоотверженья и высокой любви к добру и не принял бы наконец от них полезных и умных советов. Все-таки скорей подчиненному следует применяться к нраву начальника, чем начальнику к нраву подчиненного. Это законней по крайней мере и легче, потому что у подчиненных один начальник, а у начальника сотни подчиненных. Но оставим теперь в сторону, кто кого больше виноват. Дело в том, что пришлось нам спасти нашу землю; что гибнет уже земля наша не от нашествия двадцати иноплемennых языков, а от нас самих; что уже, мимо законного управления, образовалось другое правление, гораздо сильнее всякого законного. Установились свои условия; все оценено, и цены даже приведены во всеобщую известность. И никакой правитель, хотя бы он был мудрее всех законодателей и правителей, не в силах поправить зла, как <ни> ограничивай он в действиях дурных чиновников приставлением в надзиратели других чиновников. Все будет безуспешно, покуда не почувствовал из нас всяк, что он так же, как в эпоху восстанья народ вооружался против <врагов>, так должен восстать против неправды. Как русский, как связанный с вами единокровным родством, одной и тою же кровью, я теперь обращаюсь <к> вам. Я обращаюсь к тем из вас, кто имеет понятие какое-нибудь о том, что такое благородство мыслей. Я приглашаю вспомнить долг, который на всяком месте предстоит человеку. Я приглашаю рассмотреть ближе свой долг и обязанность земной своей должности, потому что это уже нам всем темно представляется, и мы едва... ¹⁰

¹ Из более ранней, чем остальные главы, редакции.

² Фраза в рукописи не дописана.

³ То есть Васильевич.

⁴ С любовью (*ит.*).

⁵ В рукописи не дописано.

⁶ Далее часть рукописи отсутствует.

⁷ Текст начинается с новой страницы, начало фразы в рукописи отсутствует.

⁸ В рукописи не дописано.

⁹ Край листа рукописи оторван.

¹⁰ На этом рукопись обрывается.